

A close-up, black and white portrait of a man with dark hair, looking slightly to the left. The image is the background for the text.

*Г. Адамович*

ГЕОРГИЙ **АДАМОВИЧ**  
**ОДИНОЧЕСТВО И СВОБОДА**

Георгий Адамович  
**Одиночество и свобода**

«Алетейя»

1955, 2022

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Адамович Г. В.**

Одиночество и свобода / Г. В. Адамович — «Алетейя», 1955,  
2022

ISBN 978-5-89329-435-4

«Одиночество и свобода» (Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1955) - единственная прижизненная книга критической прозы Г. В. Адамовича (1892—1972). Составленная из заново отредактированных, а частично и вновь написанных статей, публиковавшихся в эмигрантских газетах и журналах (преимущественно в «Последних новостях» и «Современных записках» в 1920—1930-е годы, но также в «Русских новостях» и «Новом русском слове»), она подводила литературные итоги первой волны, вызвала в эмиграции интересную полемику, задав тон и уровень разговора и в большой мере определив послевоенную литературную ситуацию. В приложениях к комментированному изданию — история подготовки книги, воссозданная по переписке Адамовича, а также полный свод его писем к редакторам Издательства имени Чехова, публикуемый впервые. В формате PDF А4 сохранен издательский макет книги.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-89329-435-4

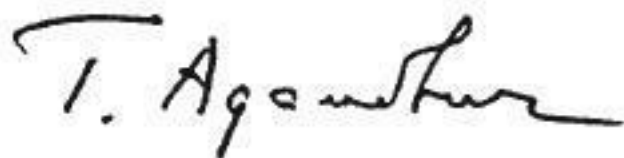
© Адамович Г. В., 1955, 2022

© Алетейя, 1955, 2022

# Содержание

От автора	7
Одиночество и свобода	8
Мережковский	21
Конец ознакомительного фрагмента.	25

**Георгий Адамович**  
**Одиночество и свобода**  
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ



*Редакционная коллегия:*

О. А. Коростелев (Москва)

А. И. Серков (Москва)

С. Р. Федякин (Москва)

Жорж Шерон (Лос-Анджелес)



@biblioclub: Издание зарегистрировано ИД «Директ-Медиа» в российских и международных сервисах книгоиздательской продукции: РИИЦ, DataCite (DOI), Книжной палате РФ



© О. А. Коростелев, составление, послесловие, примечания, 2001

© Издательство «Алтейя» (СПб.), 2022

## От автора

Статьи, входящие в эту книгу, не представляют собой сколько-нибудь полного обзора эмигрантской литературы. Нет в них ни исторической последовательности, ни претензии на то, чтобы дать характеристику наиболее известных наших писателей. Выбор имен и тем в книге не совсем случаен и внушен был стремлением к внутреннему ее единству и цельности. Но, конечно, можно было бы, не жертвуя ни этим единством, ни этой цельностью, включить в сборник и другие очерки, – например, о поэзии и поэтах, которым в книге уделено сравнительно мало внимания, или о втором поколении писателей, сложившемся уже в эмиграции и за двумя-тремя исключениями обойденном в книге молчанием. Да и среди старших наших литераторов далеко не все в сборнике названы, хотя по своему значению они того и заслуживали бы.

## Одиночество и свобода

За последние тридцать лет было очень много споров об эмигрантской литературе: пора бы, кажется, и подвести итоги. Не легко, однако, за такое дело взяться, в особенности с намерением навести в этих разногласиях порядок, признать такое-то суждение основательным, другое ошибочным. Наведет порядок одно только время. Кто верит в непогрешимость времени и его суда, пусть считает, что единственно правильное отношение к эмигрантской литературе установится у наших внуков и правнуков. Для других вопрос останется навсегда открытым, и значит останется у них и право считать лишь свое личное мнение верным.

Вспоминая все, что было об эмигрантской литературе сказано, вдумываясь в разноречивые оценки, отзывы или даже пророчества, приходишь к убеждению, что удавалось добиться стройности в этой области преимущественно тем, кто вопрос упрощал. Отбросить сомнения и колебания – в ту или другую сторону, – оказывался в силах лишь тот, кто заранее устанавливал, к какому выводу ему желательно придти, или же кто не все видел, не на все обращал внимание. Как в медицине: врач рассеянный, торопливый, а в особенности по природе ограниченный, легче ставит диагноз, чем другой, вникающий в почти бесконечную сложность человеческого организма, в загадочность его двоящейся духовно-физической сущности. Большей частью, однако, была не близорукость, а именно предвзятость, окрашенная в политические тона и как бы выносившая политическое мерило за скобки чисто литературных суждений. Сводилось это к одному из двух положений: или в эмиграции ничего быть не может, творчество существует лишь там, в Советской России, какими бы тисками зажато оно ни было; или в Советской России – пустыня, все живое сосредоточилось здесь, в эмиграции.

Не буду сразу называть имена. По русской склонности к крайностям дело доходило порой до очевидных нелепостей, отстаивать которые можно было лишь в состоянии запальчивости и раздражения. Помню, на одном из бесчисленных парижских диспутов, докладчику, под конец вечера, так сказать, совсем «закусившему удила», кто-то из публики крикнул: «Что же, по-вашему, значит, Бунину следует учиться у Фадеева?» Докладчик не задумываясь, ответил: «Да, да, именно учиться у Фадеева... – и, почувствовав, вероятно, что в таком “лапидарном” виде заявление чересчур уж смехотворно, добавил: – Учиться правде». Формула достаточно расплывчата, чтобы подставить под нее можно было все, что угодно. Впрочем, может быть в крайностях именно отрицательного, пренебрежительного типа сказалось и нечто другое, – да ведь это черта тоже характерно русская, отчетливо обнаружившаяся еще давно, в прошлом веке, например, у некоторых наших западников: уверенность, что «наше» наверно хуже «не нашего», – только потому, что это – «наше», а то – «не наше», ни по чему другому! – некое духовное пораженчество, согласное на сдачу до проверки, соревнования или боя... Много вообще было психологических причин, независимо от политики, склонявших к определенным, резко выраженным выводам, да и не могло это быть иначе, поскольку речь шла о нас самих, притом в довоенной, сравнительно свободной и сравнительно терпимой обстановке. Много было высказано суждений парадоксальных, вплоть до заявлений, что «столица русской литературы – Париж» (на одном из заседаний «Зеленой лампы», под символические рукоплескания Мережковского). Была запальчивость, раздражение, было пораженчество, и рядом изрядная доля самодовольства. Было – что же скрывать! – и не мало легкомыслия.

Установим истины, не подлежащие ни сомнению, ни отрицанию.

Иначе как с заведомым желанием признать черное белым, а белое черным, нельзя утверждать, что эмигрантская литература не дала произведений ценных по своим художественным достоинствам. Надо надеяться, что времена, когда это говорилось, прошли, и прошли безвозвратно. Упрек, который делается и до сих пор, – упрек несколько иного рода: да, – нередко читаем и слышим мы, – да, в эмиграции вышло много прекрасных книг, однако, в целом эми-

грантская литература оказалась не на высоте. Почему? Потому, что она будто бы не поняла времени, не уловила особого «заказа», данного ей эпохой и историческими условиями, словом, продолжала быть «литературой вообще», «литературой как ни в чем не бывало», между тем, как надлежало ей стать литературой исключительной, библейски патетической, гневной, страстной, бичующей, вызывающей к небу...

При подведении итогов, надо было бы по мере сил держаться в стороне от споров. Не думаю, однако, чтобы лишь стремлением снова втянуться в старые разногласия можно было объяснить признание того, что в упреке, о котором только что шла речь, далеко не все ложно и вздорно. Но это упрек демагогический, рассчитанный на легкие аплодисменты, не совсем хорошо взвешенный и проверенный, пожалуй, недостаточно вдумчивый. В исходной точке его кое-что верное есть, как бы ни были обманчивы выводы. Надо только сказать, что мало кто из непрошенных, самозванных обличителей сам на этой исходной точке стоял, мало кто из них был сам так пламенен и библейски скорбен, чтобы властно требовать огня и от других! Да и отдавали ли себе обличители отчет в том, что эмиграция затянулась на срок непредвиденно долгий, равный чуть ли не целой человеческой жизни, и что помимо «заказа» исторического, существует для каждого подлинного писателя «заказ» личный, неповторимо индивидуальный, который он ничему другому принести в жертву не хочет и не должен? Именно ради беспристрастия надо бы в противовес обличителям сказать несколько слов общих: в память всего того, чему были мы свидетелями.

Нет, не так все было слабо, серо и вяло в здешней литературе, как уверяли нас иногда, – и даже не только со стороны художественной. Теперь, когда старая эмиграция кончается, отчасти по возрасту, отчасти потому, что в новой, после войны создавшейся обстановке, многое смущает ее, – с ее вынесенными еще из дореволюционной России навыками и привычками, – многое корбит ее, останавливает, удивляет, теперь должны бы мы согласно признать: нет, не плохо она свое дело сделала, и из тяжкого исторического испытания вышла с честью. После оскорблений, которых эмигрантская литература вдоволь наслушалась, после ледящего равнодушия, которым была окружена, после бесчисленных окриков и поучений на тему о том, каким путем надлежит ей идти, хочется, наконец, сказать: спасибо, многое было сделано и когда-нибудь Россия еще признает это! Русское достоинство, поскольку с существованием литературы в эмиграции оно было связано, оказалось спасено. Многое было найдено, многое передумано, на многое посылно отвечено... А о ледящем равнодушии стоило бы, кстати, поговорить особо: писатели-эмигранты чувствовали его не только со стороны иностранцев, особенно во Франции, самой безразличной ко всему чужеземному стране в мире, но и со стороны соотечественников, – и более всего другого удивительно и оскорбительно было для них то, что отсутствие материальной компенсации духовных усилий, исчезновение понятия литературы, как почетной и в случае успеха весьма доходной карьеры, резкая убыль общественного влияния, – все это привело и к резкой убыли общественного, или, лучше сказать, обывательского уважения. Дети эмиграции, «новая поросль», «наша смена», сыграли тут свою роль, и, увы, роль печальную. Я говорю, конечно, не о той «смене», которая литературе себя посвятила: о ее деятельности, о ее «подвиге» – слово принадлежит Ходасевичу, и оно вполне верно, – речь впереди. Говорю я о молодежи иного, более обычного склада. Для нее, в целом, русская литература за рубежом оказалась лишена интереса *a priori*, – ибо представлялась она ей каким-то дон-кихотством, пусть и благородным, но смешным, ни к чему реально осязаемому не ведущим. Французский романист, зарабатывающий миллионы и обедающий в дорогих ресторанах с министрами, был для нее лицом достойным подражания, или, во всяком случае, завистливого уважения, романист же свой, русский, может быть не менее талантливый, но ютящийся на седьмом этаже и по утрам сам бегающий за молоком, был жалким обломком незнакомого прошлого, – и молодежь большей частью не стеснялась дать обломку понять, что он именно обломок, ничему научить ее не способный, и даже не имеющий на то права.

Пожалуй я сгущаю краски: не всегда все бывало именно так. Но, думаю, многие из старших писателей – в большинстве случаев уже покойных, – признали бы в общих чертах эту грустную картину верной. Поразила их не только метаморфоза в личном положении, но и то, что литература в чистом, так сказать, бескорыстном виде, очевидно, меньше людей притягивает, меньше им нужна, чем представлялось это в те времена, когда возможны были иллюзии. В этом смысле о «подвиге» следовало бы упомянуть и по отношению к старшим. Были ошибки, были слабости, но в целом свет не померк, и как бы ни колебался он под всякими ветрами и бурями, был это все тот же свет, который дорог нам в прошлом.

Ну, а что не нашлось среди писателей-эмигрантов Толстого или Достоевского, которые потрясли бы мир новым «Не могу молчать» или новой беседой Ивана с Алешей на тему о новом – многомиллионном, – «замученном ребенке», кого же за это укорять? Будем скорей благодарны за то, что по общему молчаливому уговору – хоть и с некоторыми досадными исключениями, – не было аляповатых подделок под рассчитанные на всемирный резонанс вопли, что была скромность, серьезная сосредоточенность, отвечающая значительности исторических судеб. Мы сами себя поносили, сами себя восхваляли, с амплитудой в колебаниях, идущей от ученичества Бунина у Фадеева до российской столицы – Парижа, как и полагается в наших отечественных спорах, но пора бы спокойно оглянуться на прошлое и, ничего не преувеличивая, признать, что понятие творчества в эмиграции искажено не было, духовная энергия на чужой земле не иссякла и когда-нибудь сама собой включится в наше вечное, общее русское дело.

Как трудно, как трагически исключительны условия – в обоих смыслах, внешнем и внутреннем, – какое содержание заключено в слове «эмиграция», далеко не всеми было понято. А если и было понято, то далеко не сразу, что, впрочем, и естественно. По-видимому, такой человек как Бунин, с душой менее всего «ущербленной», человек ко всему ущербному мало пытливый, человек душевно округленный, без трещин в сознании, без любопытства или вни-мания к тому, что в такие трещины иногда проникает, по-видимому, Бунин, с недоумением спрашивавший:

– Что же, уехал я из Белевского уезда, значит и перестал быть русским писателем? – с презрением отбрасывал всякие попытки доказать, что какие-то изменения все-таки произошли и отразиться могли бы. Бунин другим не пример, он сам себя питал, и его духовного достояния хватило бы ему надолго. Да и вопрос его, в придуманной им для него форме, умышленно ироничен. Этот вопрос – западня: ответ утвердительный был бы несомненным абсурдом. Но и Ходасевич, весь в трещинах, человек по природе менее крепкий, твердый и полный, склонен был отрицать всякую исключительность в участи русской эмиграции по сравнению с эмиграциями другими, прежними – по крайней мере если судить по его статье «Литература в изгнании», написанной в тридцатых годах. Ходасевич утверждал, – и правильно утверждал, – что сам по себе факт пребывания на чужой земле не составляет для творчества препятствия и ссылался на эмиграцию французскую, польскую, и даже на Данте. По-своему он повторял довод Бунина на счет Белевского уезда: люди мы, мол, взрослые, Россию помним, языка русского не забываем, – что же может помешать нам писать в Париже, Шанхае или в Нью-Йорке так же хорошо, так же усердно и обильно, как писали мы в Москве или Киеве?

Кое-что, однако, помешать может. Было бы странно, если бы в эмигрантской литературе безмятежное спокойствие оказалось одной из основных черт. Правда, чуть-чуть было, пожалуй, его все-таки больше, чем естественно было бы ждать, – и этого незачем затушевывать. Не следует заниматься тем, что в советской критике называется «лакировкой действительности», и менее всего, конечно, при посылно беспристрастном подведении итогов. Да, в этих итогах плюсов больше, чем минусов, но есть и минусы, притом такие, которые по самой принадлежности своей к категориям, не вполне совпадающим с категориями художественными или отвлеченно-умозрительными, не искупаются плюсами и не сводятся ими на нет. Никакого стройного баланса подвести нельзя, разве что стремясь во что бы то ни стало сгладить все углы,

любой ценой подвести все под одну мерку, – скажу это еще раз... Но если и был некоторый избыток невозмутимости, то именно потому, в конце концов, что не нашлось у нас Толстых и Достоевских, а вовсе не потому, что в факте эмиграции не заключалось бы повода для тревоги. Наша литература жила – и живет до сих пор – в очень трудной духовной обстановке, и это вызывает – даже оправдывает – двойственное к ней отношение. С одной стороны, тянет иногда предъявить ей особый счет, с другой, – хотя и в силу тех же соображений, – заставляет признать неизбежными некоторые ее слабости, и некоторую ее растерянность.

Данте, «Божественная комедия»... Воспоминания эти столь подавляюще величественны, что остается как будто только умолкнуть. В самом деле, если вдохновеннейшая в мировой литературе поэма могла возникнуть в изгнании, что же вздохнуть тем, кто ни при каких условиях ничего даже отдаленно схожего с ней создать не могли бы! Аргумент на первый взгляд обезоруживающий, и даже если бы не было рядом ссылки на поляков и французов, изгнание и изгнанничество лишилось бы благодаря ему черт, несовместимых с творческим преуспеянием. Данте, как известно, ел «горький хлеб изгнания», результаты, однако, оказались не плохими.

Но ведь это совсем не то...

Между бегством Данте из одного итальянского города в другой с сохранением того же жизненного уклада, с уверенностью, что политическое преследование не связано ни с какими коренными, окончательными переменами и изменениями, в те времена и немыслимыми; даже между горечью и ожесточением поляков, удрученных политическим исчезновением родины и несчастьями патриотов; или между тоской легитимистов-французов, мечтавших о гибели узурпатора – Бонапарта, но знавших, что когда час этой гибели пробьет, они вернуться домой и найдут все более или менее таким же, каким оставили; между всем этим и тем, что произошло с нами, знака равенства ставить никак нельзя. Мы стоим на берегу океана, в котором исчез материк, – и есть, вероятно, у всех эмигрантов чувство (во всяком случае есть оно у представителей эмиграции старой, довоенной), что если бы даже домой мы еще и вернулись, то прежнего своего «дома» не найдем, и пришлось бы нам по-новому ко всему присматриваться, и многому переучиваться. Нередко говорят: Гоголь писал «Мертвые души» в Риме, а не в России, Тургенев писал свои романы во Франции... Что общего? – хочется спросить. Даже если бы Гоголь и Тургенев в Россию не наезжали, у них из их «прекрасного далека» под «римским божественным небом» или в имени Полины Виардо, не было сознания, что мосты разрушены, путей нет, и что творится на родине нечто неведомое, грозно-незнакомое, чреватое непредвидимыми последствиями. Герцен «с того берега» знал, что въезд в Россию для него закрыт, и едва ли рассчитывал, что может это еще при жизни его измениться. Но потонувшего мира не существовало и для него. Он мог писать, мог размышлять о необходимости таких-то реформ или социальных преобразований, но спускаться к самым корням и основам существования, тревожиться о том, как будет человек жить в дальнейшем, что сбережет он из прошлого, от чего откажется, чему научится новому, ему не приходилось.

Не то, не то... Оставим поэтому никчемные, годящиеся лишь для никчемной полемики параллели. Для того, что случилось с русской интеллигенцией, отказавшейся примкнуть к большевизму, параллелей в истории нет, и конечно, это не могло не отразиться на литературе. Думаю, что у некоторых, наиболее значительных наших писателей-эмигрантов, воспоминания о прошлом, – столь близкие сердцу читателей, столь их умиляющие и волнующие, – воспоминания эти были до известной степени безотчетным ответом на коренные, основные недоумения, обращенные к будущему. Истинный, глубокий их смысл был именно в этом. Нельзя же в самом деле требовать от художника речи прямой, дающей какие-либо логически связные, рассудочно последовательные указания: художник в таком случае превратился бы в публициста, в газетного передовика. У него ответ дан в образах: ответ, искать которого было бы напрасно в фабуле того или иного повествования, заключен порой в общем его содержании. В очерках,

помещенных далее, я пытался некоторые такие ответы уловить и выделить. Не мне судить, удалось ли это.

Нередко приходится убеждаться, что именно тем людям, которые особенно охотно и красноречиво говорят о личности, о свободе, о вольном и независимом творчестве, не достает уважения к этим понятиям. Относится это в данном случае к нашей литературной критике. Если вспомнить все то, что было за последние десятилетия русскими критиками написано, изумляет стремление к тому, чтобы давать писателям непрошенные уроки, и, в частности, толкать их к подмене их собственной темы темой, которую критик считает желательной и насущно-«актуальной». Правда, можно возразить, что такова исконная русская традиция: учил Белинский, и порой даже самых великих своих современников, учили по мере сил и его преемники. Но, во-первых, даже и в прошлых уроках далеко не все бывало удачно, во-вторых, Белинский и его последователи учили тому, что было не их личной выдумкой, а общим содержанием эпохи, и сколько бы нас порой ни смущала их самоуверенность, – даже в таком классическом образце нравоучительной литературы, как письмо Белинского к Гоголю, – все же надо помнить, что это самоуверенность не лица, а века, убежденного в неопровержимой окончательности своей мудрости. Да и что, в конце концов, простительно Белинскому, то не так легко простить Иксу или Игреку!

Разумеется, было бы прискорбно, если бы в такие времена, как наши, писатели продолжали «пописывать», а читатели – в ответ – «почитывать». Но этого на верхах эмигрантской словесности не было. А так как человек живет лишь один раз, и так как писателя, которому «есть, что сказать», никакие мировые драмы не могут полностью отклонить от этого личного, данному его Богом или судьбой назначения, так как человек, в особенности человек творческий, – не только «продукт», то и нельзя было требовать, чтобы Бунин, или Мережковский, или Алданов, или Зайцев, или Гиппиус, – называю имена, прежде других вспомнившиеся, вне всякой связи с их индивидуальными свойствами, – нельзя было требовать, чтобы занимались они исключительно темами современными, а тем более злободневными. Сами того не замечая, люди, этого требовавшие или до сих пор так же настроенные, переходят во враждебный им лагерь и приносят столь дорогое им понятие «личности» в жертву какому-то воображаемому, ненасытному Молоху. Да и что такое современность? Можно представить себе повесть или поэму без единого мотива, непосредственно и наглядно связанного с текущими событиями, и все-таки более «современную» в истинном смысле слова, нежели любое рифмованное переложение газетной передовой статьи. В такие эпохи, как наши, – эпохи-экзамены, эпохи-испытания, – современно то, что на умственном и эмоциональном уровне ее, вовсе не только то, что именно о ней говорят. Бунина упрекали за воспевание чего-то вроде разорения «дворянских гнезд», Мережковского упрекали за Египет или вариации на библейские темы... Допустим, что действительно бывали они не «современны». Но могли бы они остаться вполне современны и в этих областях, а если, случалось, они современности изменяли, то, очевидно, по оплошности внутренней, а никак не по тематическим причудам. С Буниным, впрочем, и с Мережковским, этого не случалось.

Во имя того же принципа, – свобода, личность, творчество, – следует, конечно, признать что и непосредственный отклик на события не может быть предметом упрека. Нет, ни в коем случае, – и скажу мимоходом, часто мне представляется, как ужасна слепая ошибка истории, то, что такого человека, как Достоевский, она вылепила, создала, выпустила в мир лет на семьдесят-восемьдесят раньше, чем следовало бы. Никто не откликнулся бы на то, что принес с собой двадцатый век, так, как сделал бы это он! Поистине, камни возопияли бы, небо содрогнулось бы от тех его огненных страниц, которые живут теперь лишь в нашем бессильном вообра-

жении... Когда думаешь обо всем этом, жаль становится все-таки, что диалога с советской Россией в эмигрантской литературе не наладилось. Или хотя бы – монолога, туда обращенного, без надежды и расчета на внятный ответ, с одним лишь вычитыванием между строк в приходящих оттуда книгах. Шмелев? У него, пожалуй, монолог звучал яснее, нежели у кого-либо другого из его сверстников и собратьев, но монолог бедный мыслью, богатый лишь чувством, слишком запальчивый, возмущенно-заносчивый, ограниченный, с постоянными срывами в обывательщину, не совсем то, одним словом, что услышать хотелось бы. Тон более высокий был взят Мариной Цветаевой, у которой и в стихах, и в прозе есть эти «туда» и «оттуда», – да, конечно, и вся она, все ее писания, были на другом уровне, в другом, более высоком «ключе», чем писания Шмелева, независимо от размеров таланта. Но как у Цветаевой все сбивчиво, какой декадентски-женский «эгоцентризм», и как он исказил ее живую, отзывчивую, трепетно-поэтическую натуру!.. Нет, диалога не вышло. Это факт все-таки удивительный, в особенности, если сопоставить его с «однотемностью», которая одушевляла советскую литературу в те уже далекие годы, когда диалог мог возникнуть.

Советская литература не могла, да, пожалуй, и не хотела, позволить себе доступной здешним писателям роскоши тематического разнообразия. По-видимому, современность не поддавалась там отрыву от злободневности, и вмешательство ее в жизнь было там реальностью столь жестокой и близкой, что лишало возможности думать о чем-либо другом. Некоторая торопливость в подходе к старым «проклятым» вопросам, по-новому понятым, при таком положении была естественна, как и неизбежна была некоторая схематичность замыслов, художественные промахи в ее разработке... Во избежание недоразумений, подчеркну, что я имею сейчас в виду не всю советскую литературу полностью, а лишь те книги, которые писаны были в годы, когда власть – еще занятая борьбой за свое существование, еще в лице Луначарского либеральничавшая и колебавшаяся, еще в сущности не знавшая, что ей с писателями делать, управлять ли ими, и если управлять, то как, – когда власть не успела еще прибрать литературу к рукам. Срок сравнительно недолгий: лет двенадцать-пятнадцать с октябрьского переворота, самое большее.

В советской литературе шла тогда тяжба человека с революцией. Личность страшилась своего растворения в «коллективе» и пересматривала все то, что накопила в себе веками, отбирая подлинно-ценное от призрачно-ценного. Одно можно или даже надо было отбросить, другое надо было сохранить, как нечто составляющее неприкосновенный «золотой» человеческий фонд. Каждая «ценность» – то есть каждое чувство, мысль, свойство, привычка, стремление, – как бы вытаскивались из темных, глубоких хранилищ на дневной свет: вот жалость, вот ненависть, вот эгоизм, вот любовь и доверие к природе – что утвердить в новых, уже незыблемых правах, что уничтожить? Конечно, говоря о тяжбе человека с революцией, следует подразумевать под «революцией» не столько самое изменение государственного строя, сколько те духовные предпосылки, которых оно требует. Литература в России делала в те годы то, о чем не заботилась власть, или что власть игнорировала: она как бы торговалась с веянием и направлением эпохи, отстаивая интересы отдельного человека, отдельного члена будущего общества. Были и такие писатели в России, которые спешили уступить все, что можно, которые забежали вперед, чтобы история, Боже упаси, как-нибудь не позабыла их на свою колесницу взять. Были и другие, на все лады прославлявшие «строительство», будто путь к светлому социалистическому будущему уже расчищен при помощи правительственных декретов и резолюций, а какие-либо сомнения в возможности беспрепятственного скачка из мира былых отношений в мир отношений новых – всего лишь неврастения и интеллигентщина. Этих слабых или глупых людей не стоит принимать в расчет, да и считать их писателями нет больших оснований. Они не только без рассуждения сдали все, что можно было сдать в историческом споре, но и беспрекословно сделали уступку более существенную: признали, что право отбора, проверки, право мысли вообще во всех областях и по любому вопросу, принадлежит не им, а государственной власти... По счастью, была в России и другая литература, – подлинная, не потерявшая стыда и

чести, хотя и принужденная изворачиваться. В ней замечательно то, что она сквозь книги разных авторов выражала в сущности одно и то же недоумение, ставила один и тот же вопрос, иногда восходя на довольно большие высоты, иногда развивая его простодушно и бесхитростно, с различиями в страстности, в напряжении или серьезности, отчасти и в отправных пунктах, а значит и в характере фабул, – но всегда, по существу, говоря о том же самом. Формулировать вопрос в двух словах можно и не искажая его: «как будем жить?», то есть как согласуем внешний строй жизни со строем внутренним, как в самих себе, в душе и совести каждого из нас, оправдаем многое из того, что отмене, по-видимому, не подлежит? Не было, насколько помнится, романа, где вопрос этот был бы поставлен прямо и отчетливо (да и не мог бы такой роман увидеть свет, разве что в самом начале революции), – но присутствовал он как тональность, определяющая характер творчества и у Леонова, и у Зоценки, и у Олеси, и у Пильняка, и у Каверина и у других. В вычитывании между строк, в догадках о том, что сказано и что не сказано, надо, однако, знать меру: общего осуждения революции у этих писателей не найти! По-видимому, осуждения и не было. В основном, первичном факте революции сомнений не возникало, – и я не думаю, чтобы следовало приписать это лишь тому, что если бы сомнения и возникли, в печать им ни в какой форме и ни в каком виде не было бы доступа. Нет, при некотором навыке в чтении отличить пафос искренний от пафоса поддельного и энтузиазм фальшивый от энтузиазма настоящего, – дело не очень мудреное. Были подделки, было при творство, но далеко не всегда и не везде. «Попутничество» во всяком случае представляется явлением сложным. Помимо исторических впечатлений или политических соображений, которыми могло оно быть внушено, играла роль при его возникновении и мысль (а иногда и воспоминание) о блужданиях и крайностях индивидуализма, в предреволюционной литературе уже близкого к банкротству. Блок не был ни большевиком, ни попутчиком. Но то, что он «рванулся» – по выражению Троцкого – к революции, ни в коем случае нельзя считать случайностью или «капризом». По выражению Зинаиды Гиппиус: вся поэзия Блока – летопись постепенного индивидуалистического банкротства, беспримерно искренняя и оттого неотразимо драматическая. Ошибкой ли была поэма о «Двенадцати» – каждый пусть решит по-своему. Но есть и закономерность, и какая-то высшая справедливость в том, что именно она открывает собой советскую литературу, облагораживая ее и как бы связывая с русским прошлым... Человеку страшно жить одному, в особенности теряя мало-помалу веру в потустороннюю помощь или утешение. Страшно ему быть один на один с судьбой и историей. Тягостно ему одиночество на земле. «Товарищ, дай мне руку», – писал Блок задолго до «Двенадцати» и до того, конечно, как слово «товарищ» приобрело специфический оттенок. Правильно ли, ошибочно ли оценив момент, ранняя советская литература силилась сказать то же самое, сознавая, конечно, что отречение от личной ответственности во всем и за все, отказ от всякого сепаратного соглашения с судьбой связаны и с другими отречениями и отказами, далеко не ясными и таящими иные, новые опасности...

Пора, однако, советскую литературу оставить и вернуться к литературе эмигрантской. Но предмет это такой, что многое еще следовало бы сказать, и именно в связи с тем, что составляет содержание книг и бесед здешних.

Диалога не вышло – по крайней мере в открытом, непосредственно «туда» обращенном виде. Многое, однако, для него могло бы послужить материалом. Еще раз: у некоторых наших писателей о человеке, о жизни вообще рассказано так, что эти рассказы дополняют ранние советские недоумения или вносят в них поправку. Обличители и исправители упустили это из виду, а между тем это крайне важно, и более чего-либо другого это будет, надо надеяться, эмиграции когда-нибудь зачтено. Опыт у нее был исключительный, притом такой редчайшей внутренней ценности, какой едва ли скоро повторится. Как беспощадно заставила ее судьба обменять все «возвышающие обманы» на «низкие истины», какой новый и неприглядный мир открылся ей! Могли ли такие уроки пройти бесследно? И неужели возможно, что никто, хотя

бы в будущем, перечитав то, что порой писано было здесь, не задумается, не признает, не согласится: а ведь об этом мы забыли! а ведь этого уступать было нельзя! а ведь душа и сердце человека, оказывается, все-таки противоречивее, чем нам внушали, и клеветает на человека тот, кто утверждает, что человек «есть то, что он ест»!

То, что в нашу эпоху случилось с людьми, случается раз в тысячелетие, если не реже. За всю историю России не было примера, чтобы человек остался без всякой опоры, без какой-либо поддержки где бы то ни было, откуда бы то ни было. Опыт эмиграции, углубленный, очищенный от неизбежных житейских невзгод, «сублимированный», как любил выражаться Бердяев, – в этом отношении стоит опыта советского. Так говорят – «восходящий класс», «нисходящий класс». У «восходящих» все превосходно, у «нисходящих» все ничтожно и отвратительно, со всеми отсюда последствиями. Что же, допустим! Но ведь это звериное, волчье рассуждение, – и не то, чтобы эмигрантская литература на него возражала, нет, она его перечеркивает, она его уничтожает, она противопоставляет трепещущую жизнью истину идеологическим схемам и бездушной статистике. Думаю, что резюмировать этот сложный, смутный, наполовину безотчетный и ускользающий от точных определений процесс можно было бы, сказав, что эмигрантская литература сделала свое дело потому, что осталась литературой христианской. Не придаю этому слову никакого «конфессионального» оттенка, говорю лишь о характере и общем источнике вдохновения. О Бунине, кстати, кто-то сказал, – не помню, кто именно – с удивительной, почти розановской остротой и тонкостью чутья, и все-таки не вполне верно, – что он пишет так, «будто Христос никогда не родился». Да, в том смысле, в каком это можно бы сказать и о раннем Толстом: в проходящем через все бунинское творчество ощущении первобытной безгрешности природы. Нет, – если уловить грусть и нежность этого творчества (то, что не в пример другим символистам у Бунина уловил Блок), и если вдуматься в его мораль. Ликвидация христианства, торопливое замазывание великой бреши, «великого смущения», внесенного в развитие мировой культуры христианством, – вот с чем в конце концов и в последнем счете не могли мы здесь примириться. Никакие завоевания и достижения, – даже если произнести эти слова без привычной эмигрантской иронии – такой цены не оправдали бы.

---

Не оттого ли внятного диалога не возникло, что существовали сомнения на счет того – есть ли с кем говорить? Это, может быть, не единственное объяснение «разрыва литературных сношений», но полностью игнорировать его нельзя.

Два внутренних голоса как будто нашептывали и внушали эмигрантам, бравшимся за советские книги, две противоположные догадки, – и ни одна из них не была достаточно убедительна, чтобы заглушить другую. Только что я заметил, что отличить чувство поддельное от чувства подлинного легко на слух. Да, если подделка груба, если автор не слишком искусен и опытен... Но вообще-то метод это рискованный, и как бы слух изошрен ни был, сомнения остаются.

Один голос говорил:

– Брось, не читай... к чему? На крайность читай, если одолевает любопытство, но не придавай значения прочитанному и не делай выводов. Все, что пишется там – ложь, пустые казенные прописи, подбострастное переложение литературными чиновниками предначертаний высшего начальства. Россия? Тебе хочется знать, что думает Россия? Но Россия молчит. То, что читаешь ты в «Красной нови» или «Новом мире» ничего общего с настоящей Россией не имеет. Россия молчит, и с содроганием на эти бесстыдные упражнения поглядывает. Неужели станешь ты по отношению к ней предателем? Неужели попадешь в ловушку, поверишь, что люди там действительно строят какую-то «новую жизнь»? Если когда-нибудь произойдет там переворот, хорош ты будешь со своим благожелательным интересом к этой пре-

успевающей литературной челяди перед лицом всего многолетнего молчания и многолетнего страдания, которое потребует от тебя отчета!

Но вплетался другой голос:

– Да, всего, что надо бы сказать, всего, что хотелось бы сказать, там сказать невозможно. Писателям там очень тяжело. Не жди от них многого, и не требуй... Но вчитывайся, вдумывайся, вслушивайся, – все-таки это единственное, что к нам оттуда доходит! Ничего другого нет, и не верь рассказням о каких-то мифических подспудных романах и поэмах, которые будто бы когда-нибудь увидят свет! Россия – в тех книгах, которые там выходят, а если она тебе в этом обличьи не по душе, что же, разве она перестала от этого быть твоей родной страной, той самой, о которой Блок перед смертью сказал, что «слопала она его, как глупая чушка своего сына»? Не отрекайся от страны в несчастье. Не обольщайся насчет того, что ты, мол, тоже русский, и вправе на этом основании разрешить себе любые западнические причуды, высокомерно косясь на родное захолустье. Не будь предателем, – уже в другом, противоположном смысле! Вчитайся, вдумайся, пойми, – худо ли, хорошо ли, сквозь все цензурные преграды в этих книгах говорит с тобой Россия!

Сомнения парализовали волю. Как было обратить речь «туда», прежде чем договориться с самим собой?

---

Особую часть эмигрантской литературы составляет творчество писателей, которых до сих пор иногда называют «молодыми». В сущности, это теперь – лишь условный термин: «молодые» – те, которые лишь в эмиграции стали писать, или по крайней мере печататься. Зинаида Гиппиус, однако, еще до войны пользовалась в разговоре о них иным, придуманным ею и чуть насмешливым словом – «подстарки». «Подстарки» мало хорошего видели в жизни, да и литература принесла им очень немного радостей.

Эмиграция в тяжелом и неоплатном долгу перед ними. Каждому из старших писателей в отдельности было бы несправедливо предъявить за «подстарков» счет, но все вместе они должны бы сознаться, что не оценили и не поддержали их самопожертвованного служения русскому духу и русской культуре. Я умышленно употребляю слова пышные, даже как будто выпренные: дух, служение... Но как иначе охарактеризовать упорное, стоическое, ничем не вознаграждаемое, ничего, кроме безразличия и, в лучшем случае, пренебрежительного поощрения не вызывавшее писание стихов и прозы, в первые десять-пятнадцать лет эмиграции даже без большой надежды увидеть, наконец, свое имя в толстых, «взрослых» журналах, где, однако, всегда находилось место для рассуждений о том, например, какова была роль земства в противодействии аграрной политике Столыпина? Земство и аграрная политика Столыпина – вопросы интересные, по-своему может быть и важные. Вполне возможно и то, что стихи или проза начинающих писателей, которые могли бы Столыпина с земством чуть-чуть потеснить, были не Бог весть как талантливы и замечательны... Дело не в этом. Нельзя было двигать стену между «взрослыми, признанными» и «не-взрослыми», признанья ждавшими в возрасте, когда Пушкин давно уже был в гробу, – и говоря это, я вовсе не определенный какой-нибудь журнал или газету имею в виду, а общее молчаливое отталкивание «молодых» в подобие чистилища, откуда доступ к литературной гласности был труден. При доступе в печать стихи и проза их были бы наверно живее, обильнее, увереннее, разнообразнее, чем без него: именно в этом дело, т. е. в образовании некоего безвоздушного пространства, которое далеко не всякий писатель способен выдержать. Об этом в свое время писал Ходасевич, и сказал на эту тему много верного. К сожалению, он не уделил достаточно внимания практической и повседневно житейской стороне вопроса, предпочтя ограничиться лишь «принципиальными высотами» его: удивлен он был как будто только тем, что старшее поколение писателей-эми-

грантов отбросило идею преемственности, и что, по-видимому, было этому поколению безразлично, найдутся ли у него наследники и продолжатели. Постановка вопроса эта не совсем откровенная, кое-что затушевывающая в истинном положении вещей, – будто все мы, и старшие, и младшие, ничем другим не озабочены, как только высшими соображениями, идеальными принципами и благородными помыслами. На деле, увы, это не всегда так. «Пока не требует поэта...» Даже и очень большой писатель самолюбиво радуется успеху именно как личной удаче, раздражается от осуждения, обижается и спорит, если у него находят промахи – кто же этого не видел и не знает?<sup>1</sup> Большому писателю не приходится, может быть, по самому положению его, страдать от редакторских колебаний и отказов, но это ведь не значит, что по природе он олимпийски безразличен к таким неожиданностям.

Едва ли правильно обходить молчанием именно эту сторону в литературной участи нашей эксмолодежи, будто это и не имеет значения! Нет, имеет значение, и это-то и оставило много горечи в ее душах, а отчасти и определило тон ее писаний. Большинство молодых писателей-эмигрантов жило до 1940 года, как известно, в Париже, и теперь нередко приходится читать о парижской «ноте» русской литературы, как об особом явлении. Выражение это, по-видимому, утвердилось в нашем критическом обиходе. Как бы ни были интересны или глубокомысленны догадки о том, откуда и почему в отвлеченном, общественно-историческом плане эта «нота» возникла, не будет ее искажением признать, что чувство насильственно-навязанного литературного одиночества сыграло в ее образовании известную роль. Парижская «нота» – будто бутылка в море: «когда-нибудь, кто-нибудь прочтет, узнает, поймет. В настоящем надеяться не на кого и не на что».

Упреки старшим писателям в полной беззаботности насчет преемственности несправедливы прежде всего потому, что эти писатели не предвидели, насколько эмиграция затянется. В тот период, о котором идет речь, мало кто вообще предвидел это. Преемственность мысленно переносилась в Россию, где возникла бы она сама собой, без заботы о ней. Казалось, Бунин или Шмелев пишут сейчас в комнате парижского отельчика, но дайте время, следующие их книги выйдут в Москве! Преемственность никого не тревожила. Лишь позднее начали вкрадываться сомнения относительно срока пребывания на чужой земле, и вопрос о «смене» перестал малопомалу быть вопросом чисто теоретическим. Но вольно или невольно, зло уже было сделано.

У меня нет ни основания, ни повода говорить на этих страницах сколько-нибудь обстоятельно о наших «молодых» и о том, что они с собой принесли. В этой вступительной статье я занят общими настроениями, отраженными в эмигрантской литературе, и лишь в этой плоскости коснулся их. Но боюсь, что – по крайней мере с их точки зрения, – в этих обобщениях сказывается все то же, им хорошо знакомое отсутствие внимания, и что они, пожалуй, возрадят: почему о всех вместе, с птичьего полета, будто у каждого в отдельности нет индивидуальных достоинств, пусть даже индивидуальных слабостей, т. е. все-таки отличий? почему безымянно? почему «взгляд в нечто», о чем-то туманном и ускользающем, а не, например, о книге Варшавского или о романах Яновского, о стихах Червинской или Довида Кнута, или о таком-то, о таком-то, о таком-то? Сейчас, в данном случае, оправдание у меня нашлось бы. Но отчего – могут возразить, – самый замысел таков, опять таков, неизменно таков, что вниманием обойдены писатели, мало его видевшие и имеющие на него права? Ответить следовало бы

---

<sup>1</sup> Перебирая в памяти прежних русских писателей, нахожу одно только несомненное исключение – Льва Толстого. Но Толстой и во всем – исключение. Впрочем, он вообще не был «литератором», да и стоял настолько высоко, что литературное жите-бытие не могло его своими дрызгами коснуться. Немыслимо, однако, представить себе, чтобы можно было его поддеть на лесть, или склонить к поспешному, завистливо-радостному осуждению другого писателя. Особая, единственная натура: Толстой оставался Толстым, даже и тогда, когда никакой Аполлон к священной жертве его не требовал... А Тургенев! А Гончаров! А Достоевский, который на пушкинском празднестве, т. е. после «Бесов» и «Карамазовых», на вершине своей пророческой духовности, судорожно подсчитывал за кулисами, сколько студентов аплодирует ему, а сколько Кармазинову-Тургеневу!

лишь обещанием сделать в другой раз то, что не сделано теперь. Действительно, стыдно и чуть-чуть лицемерно рассуждать сочувственно о каких-то «нотах», тут же относясь к живым ее носителям и представителям как к бездушному материалу! Не то, чтобы критик и критика вообще имели такое значение, такое влияние, что без них писателю, истинному творцу, и жизнь не в жизнь. Нет, едва ли, – и иллюзий относительно этого у меня нет. Репутации иногда в самом деле делаются критиками, но удерживаются лишь в тех случаях, когда находят анонимное читательское подтверждение, – как бывало, например, с Белинским. Однако у нас теперь установилась какая-то табель о рангах, с подразделением на тех, о ком статьи писать принято, и на других, кому достаточно и нескольких строк, и даже не только тогда, когда речь идет об эмиграции, но и при сопоставлении с писателями советскими. Милюков в «Очерках по истории русской культуры», ценнейшем труде, испорченном несколько легковесным литературно-художественным подотделом, посвятил десятки страниц разбору советских романов, тогда только что вышедших, но сейчас забытых и в большинстве случаев ничтожных. Об эмиграции, в частности, о втором ее поколении – ни слова. Почему? Разве это не Россия? Разве писания, мысли, мечтания и надежды этих русских людей никакого отношения к русской культуре заведомо не имеют? Милюков был историком. В данном случае исторического беспристрастия он не проявил.

Старшие писатели помнили Россию и, покинув нарицательный Белевский уезд, впечатлений вывезли чуть ли не на целую жизнь. Младшие не помнили ничего, кроме, пожалуй, военных и революционных лет, со всяческими их страхами, лишениями, потрясениями, бегством, растерянностью и внезапной нищетой. Ощущение пустоты; сознание, что связи не то, чтобы порвались, а что их вообще нет; чувство, что не «все за всех, каждый сам за себя», а просто «каждый сам за себя» – все это было их естественным душевным состоянием. «Голый человек на голой земле»: ни общества, ни опоры, ни настоящих учителей, – именно в учительски-ведущем и дружественном смысле, – отсутствие которых молодежь чувствовала тем острее, что не вполне основательных претензий на эту роль было не мало. Вокруг был Запад, в частности – Париж, блестящий и безразличный, с общим уровнем в области творчества до сих пор еще, после непрерывного четырехсотлетнего цветения, настолько высоким, что он и манил, и отпугивал, – да и таил он в себе какую-то сухость и холодок, глубоко чуждые всему русскому, как вообще французская литература, за двумя-тремя, так сказать всемирными, исключениями, вроде Паскаля, навсегда останется русскому духу чужда. Один пытался «чуждость» преодолеть, перекладывая на свой порывистый русский лад французские уроки, – Поплавский, например, который, впрочем, сегодня «поклонялся тому, что сжигал» вчера, и сам не был уверен, что примется «сжигать» завтра. Другие замыкались в себе, старались разобраться именно в том, что разбору поддается особенно трудно – в пустоте.

Они писали стихи и прозу. Бывали это порой очень хорошие стихи и совсем не плохая проза, бывало и так, что похвальные и даже трогательные намерения всего лишь намерениями и оставались. Их одергивали, едва только удавалось им проникнуть в печать: что это, мол, в самом деле вы все ноете, все копаетесь в себе, носитесь со своими «переживаниями», и это в то время как... в наше время, когда!., не кончаю предполагаемой фразы потому, что содержание ее стереотипно неизменно и достаточно хорошо всем известно.

Если даже им прощали недостаток боевого пафоса и готовность вмешаться в современные идейные и духовные раздоры, то не прощали отсутствия энергии, бодрости, энтузиазма, тех свойств вообще, которые в нормальное время украшают молодость. А откуда было им взять их? Обычно в молодости кипение физических сил находится в некоем соответствии с открывающимися перед человеком далекими и широкими жизненными перспективами. Здесь был скорей разрыв между тем и другим. Деятельность, если и была возможна, то не как свободный, бодрящий выбор, а как «лямка», которую приходилось тянуть без иной цели, кроме куска хлеба, притом сухого. К чему, зачем деятельность? У этого поколения эмигрантов, поскольку

речь идет о писателях, воспоминаний о России было мало, но затаенное чувство принадлежности к ней в них еще держалось и – это довольно важно, – усиливалось оно тем, что Франция как бы не замечала и даже просто не видела этих чужаков, откуда-то бежавших, чего-то ищущих, чем-то недовольных и к тому же вечно меж собой ссорящихся. Франция их не отталкивала, но о них и не помнила: ее гостеприимство ограничилось формальной, административной вежливостью, а проникнуть во французские «круги», даже если бы и было к тому желание, удавалось преимущественно тем, кто этого настойчиво, и не без заискивания, добивался. Приглашений никаких не бывало, а о каком-либо интересе, или хотя бы любопытстве, нечего и говорить. Франция – по составу своему страна менее всего мозаичная, в противоположность такой этнически разнородной стране, как Америка; помимо того, эта страна усталая, задетая в своем национальном самолюбии, ревниво отстаивающая свою духовную «столичность», если уже приходится помириться с потерей духовной гегемонии. Какое было ей в сущности дело до кучки молодых и среднего возраста людей, что-то сочиняющих на своем непонятном языке и мало-помалу растворяющихся в бездомно-интернациональной богеме, подлинным отечеством которой стал Монпарнас?

Не будем сетовать на безразличие чужеземцев. С нашей стороны безразличие было бы оправдать труднее, как и труднее понять упреки в каком-то лунатическом оцепенении и безысходно-бездеятельной задумчивости. По личным, долгим впечатлениям могу засвидетельствовать, что, за единичными исключениями, «молодые» думали и помнили о России, и ничуть не склонны были к тому, чтобы превратиться в рядовых космополитических болтунов. Пожалуй, черта эта была у них даже более заметна, чем у старших и признанных, – вероятно потому, что смешана была с большим беспокойством. Но неизбежно отрыв от реальности осязаемой, некое витание между небом и землей, должны были привести к тому, что загадки и сомнения вечные, или по крайней мере постоянные, заслонили для них вопросы, связанные с временными политическими и социальными неурядицами. Еще сильнее, чем старшими, владело молодежью чувство, что жизнь им дана только раз, и что в навязанном им, выпавшем им в удел одиночестве, если уж все равно практические успехи недостижимы, если их существование – не движение, а затянувшаяся остановка, должны они по крайней мере взглянуть судьбе прямо в глаза: кто мы? откуда? куда? что мы делаем на земле? по чьей воле или по чьей слепой и жестокой прихоти брошены мы в мир?

Коснувшись этого, позволяю себе коснуться заодно и темы, которая особенно много вызвала порицания и даже насмешек – темы смерти. Кто только не остроумничал по поводу пристрастия молодых писателей, – главным образом, поэтов, – к «проклятой курноске», как говорил вечно думавший о смерти Петр Ильич Чайковский, и сколько было в этом юморе, нередко опускавшемся до откровенного зубоскальства, сколько было в нем близорукости и несправедливости! Во-первых, во всей мировой поэзии смерть была, есть и будет одним из глубочайших, неисчерпаемых источников вдохновения, – как в поучение неисправимым весельчакам сказал об этом раз навсегда еще Платон, действительно «божественный» Платон, удивительную цитату из которого насчет связи между поэзией и смертью неумоимо, в различных своих сочинениях, приводил Лев Шестов. Чем была бы поэзия, если бы не постоянно маячила в ней, пусть и вдалеке, эта черная тень, какой смысл был бы в ее надеждах, в ее вызовах, и особенно – как бедна и груба оказалась бы без нее ее музыка! Но это – вопрос общий, не буду на нем задерживаться, да и что сказать о нем в нескольких беглых словах, мимоходом... Во-вторых, как могло бы случиться, что у людей, начинавших сознательно жить с обнаженной, навязчивой мыслью – недоумением о том, зачем, собственно говоря, они живут, как могло бы случиться, что в писаниях этих людей смерть – «всех загадок разрешение, распадение всей цепей», по слову мудреца Боратынского, – отсутствовала бы? Знаю, и не хочу этого затушевывать, что было и некоторое кокетство своей утонченной анемичностью, своим потусторонним ангелоподобием: это могло раздражать, должно было раздражать! Но всякое явление порожд-

дает пародию на себя, а если некоторые русские парижане не без томного удовольствия драпировались в нео-Гарольдо-вы плащи, нельзя из-за них осуждать тех, которые – будь у них выбор, – предпочли бы другую одежду.

Вот, значит, в чем был «подвиг»... В желании помянуть добрым словом все то, что сделано было русской литературой в эмиграции, не приходится делать каких-либо возрастных различий: наоборот, надо признать, что второе поколение испытание выдержало. Никто ему не говорил о какой-либо «миссии», о «священном долге». Оно само себе эту миссию назначило, ощутив необходимость ее и отказавшись ее променять на что-либо другое, практически более заманчивое. Ну, а об отдельных творческих успехах или неудачах – когда-нибудь в другой раз! Несомненно, успехи были, и порой значительные, притом с чисто литературной точки зрения, независимо от других соображений. Не забудем, однако, того, что сказал Белинский незадолго до смерти: для русского человека слабая книга с хорошим замыслом всегда будет дороже книги блестящей с замыслом сомнительным. Как бы в дословном своем смысле ни было интеллигентски простодушно это замечание, крупица «метафизической истины» в нем есть! Белинский был очень русский человек, удивительный это был в своей бесстрашной искренности человек и, вероятно, Достоевский, обзвавший его «самым тупым и смрадным явлением русской жизни», больше думал о его запальчивой, но мало оригинальной, наспех усвоенной радикальной и атеистической мудрости, нежели о нем самом...

---

Я пишу эти строки в самом конце 1954 года, почти что через десять лет после окончания войны. Период, которого я коснулся, кончен. Война всех разметала. Одни погибли, другие уехали, у прежних молодых, у «подстарков» – седые головы. Появилась молодежь новая, с совсем, кажется, иными требованиями, иными стремлениями... Что же, пожелаем ей участи более счастливой, и, если действительно отражает она и несет в себе русское будущее, постараемся верить, что отнесется она к трудам, мечтам и мыслям писателей-эмигрантов в первые десятилетия после революции с тем же доверием или хотя бы вниманием, с каким думаем о будущем мы.

## Мережковский

Имя Мережковского неразрывно связано с тем умственным, душевным или просто культурным движением, которое возникло в России в конце прошлого века. У движения этого есть несколько названий: есть кличка, ставшая презрительной – «декадентство», есть уклончивое, неясное имя – «модернизм», есть определение литературное – «символизм». Критики не раз уже устанавливали разницу между этими понятиями и объясняли, в чем, например, декадентство не было символично, а символизм не был упадочен. Но разделения этим не особенно повезло. Да и сплетение между отдельными ветвями одного и того же дерева было так тесно, что трудно было в этих узорах разобраться. Одна, единая творческая энергия вызвала в девяностых годах литературное оживление... Только, конечно, были среди тогдашних литераторов люди с узкой, ограниченной душой, с узким умом, и были другие, внесшие в движение духовную серьезность, напряжение и широту.

Узость олицетворял Брюсов. Может быть, именно потому он был на первых порах так удачлив. Именно потому он легко, без сопротивления с чьей бы то ни было стороны, завладел положением «мэтра»: Брюсов был и понятнее, и заносчивее других, и, в сущности, ограничивался культуртрегерством. «Раньше писали плохие стихи, – будем, господа, учиться поэтическому мастерству у отвергнутых великих учителей и будем писать стихи хорошие». – «У нас толкуют все больше о мужичках и о земстве, а на Западе в это время творится новое искусство, – будем же и мы внимательны к этому новому искусству»... Это легко было усвоить, это сулило легкий успех. Брюсов знал, чего хотел, – и завоевание власти оказалось для него делом пустячным. Но никогда он власти подлинной, над всем движением, не имел, и впоследствии произошел не бунт против его тирании, а просто водворение порядка в литературных делах. Выяснилось, что, кроме просветительной миссии, Брюсов ни на что не в праве претендовать, что сознание его бедно, а кое в чем и порочно, несмотря на пышные слова. Произошло это не теперь, а лет сорок тому назад, еще в то время, когда брюсовский стихотворный дар едва-едва начинал ссыхаться и вянуть. Если не ошибаюсь, в 1910 году, в памятном споре о поэтическом «венке» или «венце», Вячеслав Иванов и Андрей Белый почтительно, но твердо указали Брюсову его место в новой русской словесности. Брюсов сделал *bonne mine au mauvais jeu*, заявил, что поэтом, «только поэтом», он и хотел быть всю жизнь, и даже принял под свое тайное покровительство возникшие на его, брюсовской, суженной платформе течения, вроде акмеизма и футуризма. Но уязвлен остался он навсегда.

В сущности культуртрегером был и Мережковский. Он тоже «открывал Европу», – причем начал это раньше Брюсова. Это он, возвращаясь как-то из-за границы в Россию, ужаснулся нашей «уродливой полуварварской цивилизацией» и задумался о «причинах упадка русской литературы». Мережковский только что услышал о диковинном новом мудреце Ницше, будто бы окончательно «переоценившем ценности», только что заучил наизусть стихи Верлена, прекрасные, но без малейшего отзвука «гражданской скорби», и после этого, раскрыв какой-то отечественный толстый журнал на очередной статье Скабичевского, пришел в отчаяние... Но, конечно, этими чертами Мережковский не исчерпывается, – и даже такое привычное соединение слов, как «культурная роль», звучит в применении к нему несколько поверхностно и нелепо. Ну, разумеется, культурная роль была! Но разве в ней дело? Было нечто другое, гораздо более важное и существенное. Несмотря на весь свой европеизм, Мережковский писатель типично русский, – как типично русской была вся «его» линия модернизма, с Блоком и Андреем Белым, многим ему обязанным.

Можно по-разному оценивать русскую литературу дореволюционного периода. Можно упрекать ее в отступничестве от классических русских традиций или отмечать ее стилистическую и эмоциональную несдержанность, или осуждать ее за некоторую туманность замыслов... Но вот что, все-таки, бесспорно: она имела какое-то магическое, неотразимое воздействие на поколение, да, именно на целое поколение. Пусть это было поколение «больное», как его нередко характеризовали тогда, и как характеризуют теперь в советской России, употребляя другие термины, но оставляя тот же смысл. Пусть оно было слишком городским и несло в себе все последствия разрыва с природой, всегда тяжелые и губительные. Пусть даже в самом деле можно найти объяснение его настроениям в политических и социальных условиях эпохи, – пусть! Но, все-таки, это было очередное русское поколение, и едва ли оно было настолько хуже других, чтобы о нем говорить не стоило. Нет, вспоминая честно, без всякой рисовки, но и без самоуничтожения, то, что занимало «русских мальчиков» – по Достоевскому, – в предвоенные и предреволюционные годы, хочется сказать, что сквозь иные слова, иные образы они думали приблизительно о том же, о чем думают все люди в шестнадцать или двадцать лет. Был и жар, и порыв, и восторг. А с литературой была у них связь какая-то такая кровная, страстная, жадная, что о ней теперешним двадцатилетним «мальчикам» и рассказать трудно. Вероятно, происходило это потому, что юное сознание всегда ищет раскрытия жизненных тайн, ищет объяснения мира, – а наша тогдашняя литература обещала его, дразнила им и была вся проникнута каким-то трепетом, для которого сама не находила воплощения. Нет, не так мы раскрывали «Весы», как раскрывают какой-нибудь журнал теперь, не для того только, чтобы прочесть «интересную» повесть или «недурные» стихи: нет, нам казалось, что вот-вот что-то важнейшее будет объяснено, что-то должно измениться, и на этих страницах мы это увидим. Даже если и знаешь теперь, что жажда утолена не была, обиды не остается. Напротив, остается только благодарность.

Мережковский был одним из создателей этого движения, вдохновителем этого оттенка предреволюционной русской литературы, – и это-то и показывает, насколько мало характерно для него поверхностно-капризное западничество с Верленами, Уайльдами, а то даже и Пушкин-бышевским. Без Мережковского русский модернизм мог бы оказаться декадентством в подлинном смысле слова, и именно он с самого начала внес в него строгость, серьезность и чистоту. Книга о Толстом и Достоевском оправдывает поход на Скабичевского: ради переложения французских сонетов на русский лад ломать стулья, пожалуй, не стоило, но ради этого стоило. Тут было возвращение к величайшим темам русской литературы, к великим темам вообще. Границы расширились не только на словах, но и на деле, а, главное, не только географически, но и творчески. Кстати, книга эта имела огромное значение, не исчерпанное еще и до сих пор. Она кое в чем схематична, – особенно в части, касающейся Толстого, – но в ней дан новый, углубленный взгляд на «Войну и мир» и «Братьев Карамазовых», взгляд, который позднее был распространен и разработан повсюду. Многие наши критики, да и вообще писатели, не вполне отдают себе отчет, в какой мере они обязаны Мережковскому тем, что кажется им их собственностью: перечитать старые книги бывает полезно.

---

Однако это прошлое, это – история, исторические заслуги.

Влияние Мережковского, при всей его внешней значительности, осталось внутренне-ограниченным. Его мало любили, мало кто за всю его долгую жизнь был и близок к

нему. Было признание, но не было порыва, влечения, даже доверия, – в высоком, конечно, отнюдь не житейском смысле этого понятия.

Мережковский – писатель одинокий.

Трудно найти другое слово, которое отчетливее выразило бы существеннейшие его черты и положение его в русской словесности. Было во внутреннем облике Мережковского что-то такое печальное, холодное и, вместе с тем, отстраняющее, что рано или поздно пустота вокруг него должна была образоваться. Да, влияние он имел в начале века огромное. Роль играл самую видную. Но ни влияние, ни роль не исключили одиночества. Одиночество было глубже. Оно могло и до старости Мережковского прекрасно уживаться с какими угодно спорами, соображениями, выступлениями, речами, полемиками. Взглянешь, бывало, со стороны, – как будто активнейшая деятельность. Вслушаешься в тон слов, написанных или сказанных, все равно, – и сразу чувствуешь, как все это прирожденно, органически непоправимо «вне»... Нелегко определить, вне чего. Естественно было бы сказать «вне жизни», но как некогда было спрошено «что есть истина?», так можно спросить себя: «что есть жизнь?» Разве то, что так явно волновало Мережковского, – не жизнь? Разве жизнь – это только какие-нибудь желтые пленки Наташи Ростовской, а все эти догадки, намеки, воспоминания, пророчества и обещания, хотя бы и самые отвлеченные, – нечто другое?

Нет, оставим в покое расплывчатое, все покрывающее понятие о жизни. Но если случайно вспомнился Толстой, то на примере его можно кое-что пояснить... Толстой, в самом деле, менее, чем кто бы то ни было – «вне». Толстой всегда и во всем – со всеми людьми. Мережковский – единственный из больших русских писателей последнего времени, полностью обошедшийся в своем духовном развитии без Толстого. У других – отчужденность обманчива, поверхностна. При жизни Блока, например, могло бы показаться парадоксальным утверждение прямой зависимости «декадентского» поэта от Толстого, и Толстой, конечно, расхохотался бы над «Ночными часами», как хохотал над Бодлером и Ибсеном. Но нравственная преэминентность очевидна, – и уж скорее поверхностна связь Блока с Владимиром Соловьевым. В разных формах зависимость от Толстого можно обнаружить, при сколько-нибудь пристальном внимании, почти у всех, только не у Мережковского. Здесь – несомненный разрыв, и даже не разрыв, а какое-то постоянное игнорирование, переходящее в глухую вражду. Нередко, когда читаешь Мережковского, кажется, что он именно с Толстым спорит, как бы ни был далек от него, и именно с ним сводит какие-то давние, скрытые счета.

Кстати: замечательный рассказ о посещении Мережковским Ясной Поляны, – рассказ, который я слышал несколько раз от З. Н. Гиппиус. По-видимому, сцена эта врезалась ей в память.

Толстой вечером, после общей беседы, поклонившись гостям и пожелав им спокойной ночи, остановился в дверях, и в пол-оборота, пристально и внимательно, своими пронизывающими, глубоко запавшими глазами поглядел на Мережковского. «Мне даже сделалось жутко, – вспоминала Зинаида Николаевна. – Чего это он на Дмитрия так смотрит?»

Позволю себе догадку: Толстой смотрел на Мережковского с любопытством, как жадный, ненасытный художник, встретивший что-то такое, чего до тех пор видеть ему не приходилось. Безотчетно он, может быть, уже и подыскивал слова, эпитеты: «как бы его получше описать». В гениальной своей обычности, как удесятенный в жизненной силе средний человек, он изучал редкое исключение, чувствуя, вероятно, неодолимую, тихую, упорную в нем вражду. Не могло быть иначе, по глубокой розни натур. Приблизительно то же изображено на какой-то старинной гравюре, где встречается день с ночью.

С Мережковским можно было говорить о чем угодно. О неизбежности войны, о последней статье Милюкова, о большевиках или Гитлере, о том, поняли ли французские трагические поэты греков, и устарел ли Чаадаев... Беседа неизменно находилась на известном, довольно высоком уровне, и люди в общении с ним незаметно для самих себя «подтягивались». Предметы же бесед бывали самые различные.

Однако, если разговор был действительно оживлен, если было в нем напряжение, рано или поздно сбивался он на единую, постоянную тему Мережковского – на смысл и значение Евангелия. Пока слово это не было еще произнесено, спор оставался поверхностным и собеседники чувствовали, что играют в прятки.

Мережковский, конечно, думал о Евангелии всю жизнь и шел к «Иисусу Неизвестному» через все свои прежние построения и увлечения, издали глядя в него, как в завершение и цель. Иногда бывали зигзаги, со стороны не совсем понятные, – например, один из его последних зигзагов: наполеоновский, – но в сознании Мережковского они едва ли были отклонениями. Наоборот, все должно было внести ясность в единственно важную тему, и подготовить рассказ и размышление о том, что произошло в Палестине девятнадцать столетий тому назад. Нет писателя, который был бы больше односторонним, чем он. Ему не приходилось ни обуздывать себя, ни бороться с «впечатлениями бытия»: жизнь для него – не то что есть, а то, что должно быть. Он готов был бы повторить «тем хуже для фактов», если бы нашел что-либо не укладывающееся в его схематически стройные – что-то уж слишком стройные! – исторические догадки. Да он и видел лишь то, что к схемам его подходило, так что недоразумений или трудностей не возникало.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.